

борис поплавский
орфей в аду



Борис Юлианович Поплавский
Сергей Владимирович Кудрявцев
Кирилл Захаров
Орфей в аду

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67284626

Орфей в аду: Гулея; М.; 2009

ISBN 978-5-87987-059-6

Аннотация

Третья гилейская книга неизданных ранних стихов Бориса Поплавского (1903-1935), на этот раз обнаруженных в его парижском архиве. Вновь интереснейшие примеры дада и постфутуризма, не вошедшие в трехтомник Поплавского, подготовленный Е. Менегальдо (поэтический том которого, кстати, содержит великое множество ошибок). По Интернету гуляет неверный, предварительный вариант верстки "Орфея", выложенный туда автором предисловия из соображений нарциссизма.

В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Нагое безобразие стихов	6
Поэмы	16
Поэма о Революции. Кубосимволистический солнцецень	16
Истерика истерик. Опыт кубоимажионистической росписи футуристического штандарта	25
1	26
2	27
3	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Борис Поплавский

Орфей в аду

© Книгоиздательство «Гилея», 2009

© Оформление. М. Юганова, 2009



10. IX. 30

Г. П.

Нагое безобразие стихов

Заговоришь о Поплавском с «ценителем» филологической выучки, интонация будет задумчивой, через минуту уважительно закивают. Теперь кивков этих, по счастью, трудно избежать. Еще через минуту беседа неумолимо сойдет в тартар привычных умствований: «талантлив» (как вариант: «мог бы писать сильнее – не дожил»), «неровен», «одно время был резким футуристом». Два-три словца о религиозных исканиях, наркотиках, странной смерти. Разговор закончен. Можно сказать, удался.

Для «умеренных» Поплавский – одаренный выскочка, немножечко выродец, что-то вроде эмигрантской версии Маяковского. Довольно удачный клон, с небольшими погрешностями. Подкармливали его чем-то первобытным, чудил по молодости, но вот основа – классическая: Блок, Бодлер, Малларме, французский лицей. Потому и был одобрен поэтическим генералитетом, потому и выдали индульгенцию романтическим передержкам. У Маяковского, положим, чуть по-другому: Бурлюк натаскивал «мота» как мог, подсовывал благородное – «Книгу масок», к примеру. Худо-бедно, соорудили основу и здесь: даже Розанов оказался близок «поэтиному сердцу», как рассказал нам Виктор Ховин. А Поплавский *хотел* писать как Розанов, да не вышло. Рассказал об этом Бердяев.

(Любопытно, сколько еще статей на тему «Поплавский – Маяковский» родится после явления «Поэмы о Революции»?)

Очень многие «серьезные» разговоры на поверку оказываются вредоносной болтовней, к тому же полной обескураживающих умолчаний. Печально, что апологеты (а врагов, повторимся, у Поплавского все меньше) наговорили столько же, сколько и недоумевающие. Натужное понимание очевидных процессов, вне которых феномен Поплавского немыслим, вне которых такого поэта просто не было бы, можно оправдать лишь удивительной нечувствительностью и ленью. Сегодня, спустя семьдесят лет после смерти «царевича», опять приходится напоминать о дадаизме и футуризме, которые, к слову, «царевич» пережил.

Понять, почему из творчества Поплавского вымарывают «резкий футуризм», очень легко. Над русской литературой упорно витает дух мессианства, время от времени отдающий местечковостью; она по-прежнему сельский учитель. Антиэстетизм представляется каким-то имманентным русским свойством, «дикостью», которую следует изжить, выкорчевать или, на худой конец, занавесить. Крученных до недавнего времени почитался шарлатаном: так было проще. Искать у Поплавского, например, параллели с Достоевским или Толстым – это привычный, приличный путь: поэта опять выводят на «большую дорогу человекoв» и тем самым едва ли не оказывают честь бродяге *minor*'у, впускают его в «насто-

ящую литературу». Помилуйте, да ведь у нас есть «принципы». О том же, что Бретон писал о Достоевском, лучше вообще не знать, это умножает печали.

Иные судят жарче. Нам довелось немало спорить о «раннем» и «позднем» Поплавском с теми, кто предпочитает именно раннего. Все, что *потом*, – недостаточно лихо. Да и не с «хрустальной дорожки» Поплавский ушел – уйти хотел от вечного голода: «нищета заговорила». Эти опять ищут основу, но только ультра-модернистскую. «Мы ходили с тобой кокаиниться в церкви», – вот счастье, вот права. Вновь о расширенных зрачках, темных очках (теперь они служат пропуском в дада), заблуждениях – не в начале, в конце.

Может быть, и вправду – искать следует именно здесь? Уж какое там пачкунство?! – шестнадцатилетний мальчишка «в козьем полушубке» создает «Истерику истерик» – уникальный опыт автоматического письма, футуристической и «кубоимажонистической» ницшеаны. А в подкладке затаился страдалец-Исидор. Автор одарен ровно настолько, чтобы обеззубеть годам к тридцати.

Взгляд как будто отрадный. Оригинален, свеж он потому, что возвращение ранних стихов Поплавского началось недавно; разглядеть и понять их непросто. И очень подкупает горячность «рассмотревших», ориентированных, судя по всему, на фигуру Зданевича, который тоже возвращался и понимался мучительно трудно. Цитировать слова «жили мы стихами Поплавского» вошло в привычку давно, но на-

конец-то приходит понимание, *какими именно* стихами Поплавского Зданевич «жил». Да уж самыми найдичайшими, будьте уверены. Цитируя, мало кто давал себе труда вспомнить об «анальной эротике». Да, ведь Поплавский еще и заумник, вот надо будет что иметь в виду.

И мы уже готовы согласиться.

Увы, точка зрения эта тенденциозна в той же степени, что и первая, а потому нестерпима для нас. Впрочем, должно пройти еще какое-то время, прежде чем в работах «доцентов» линия эта разовьется с достаточной силой, и о Поплавском заговорят как о «русском сокровище-дадаисте» во весь голос, рождая обесмысливающие стереотипы и каноны. А может, и не разовьется, только иные слависты будут прилежно отыскивать необходимые параллели.

Конечно-конечно, Поплавский – русский дадаист, запомним это хорошенько. Что заставляет его быть «могильщиком»? Да то же, что и Балля. *Он знает, что мир систем рухнул, что эпоха, требующая оплаты наличными, начала по бросовым ценам распродажу развенчанных философий.* Он очень хорошо это знает, и параллели с Толстым следует поискать (и) здесь. Смешно?

Слово «русский» не менее важно, чем слово «дадаист». «Как будто русским или негром можно перестать быть», – говорит Поплавский и, законспектировав Гегеля, расстегивает ширинку – отлить неподалеку от Лувра бок о бок с Горгуловым. Такова проклятая история литературы, никуда не деть-

ся: пришедшие русские хамы оскверняют заграницы, в отместку же краваны изводят побеги русской духовности. Или наоборот.

Нити натянуты, до сюрреализма рукой подать. Не успевает Зданевич подумать о русском «сюр-дада», как Поплавский перекидывается. С легкостью и бесстыдством ошеломляющими. Бесстыдство отягчено автоматическим письмом, освоенным еще в 1919-м, и лицом Филиппа Неррийского, способствовавшим знакомству с французскими символистами. Которые, оказывается, тоже сюрреалисты.

Эту шалость прощают охотно, ведь машинка Бретона – точка схождения «классического» и «авангардного». Главное – соединить несоединимое (высекает искру). Здесь могут примириться и «доценты» с «разглядевшими». Бретон придумал нечто, многими воспринятое (и воспринимаемое до сих пор) как большее, чем дадаизм, включающее его в себя. Если дада настаивал на апофатических формах, антихудожественной художественности и отмене иерархий, то сюрреализм – почти что новый эстетизм. Плюс комбинаторика. Ничем не ограничиваемая образность – так ведь Поплавский художник.

Итак, сопрягаем два слова – «русский» и «сюрреалист» – и чувствуем сладость сверхреальности (не спугнуть бы!). Еще раз, смелее: русский сюрреалист, настоящий. И при этом не Эренбург. Наверняка, это для нашей радости он прошел сквозь ад дадаизма. Для нашей гордости.

Ведь писал же Поплавский автоматические стихи.

Приделал же он солдату крылья.

А еще домохозяйки очень любят Дали.

Но «русский» с «сюрреалистом» разлетаются в разные стороны. В рецепте Поплавского («одним перехамил, другим перекланялся») важно именно «пере-», а не что-то другое. Из амбивалентности сюра он сразу же делает еще один шаг, последний. Для Зданевича игры монпарнасцев – «белогвардейская халтура», а для Ходасевича футуризм – это «трупный яд». Поплавский отныне разорван надвое – окончательное *до* и окончательное *после*. Лотреамон, Нерваль и Лафорг завели его слишком далеко – к началу. *И на двух катафалках везут / Половины неравные тела.*

Он уже не бегает в Наркомпрос. Он сам теперь может «плевать справа». Словно не было никакой «резкости» (и некоторые хотят верить этому до сих пор), не было даже Зданевича. Поплавский являет чудеса беспринципности. Опять дадаист? Мошенник.

Идем направо – песнь заводим. Стихи «Флагов» не всегда ясны, но к ясности, понятной «среднему читателю», стремятся, а там, где ее не хватает, вытягивает музыка. (Набоков – не средний читатель, потому и расслышал «Мореллу».) Отныне разговоры о ней становятся общим местом. Все непонятное относят к «раннему», подражательному, позерству, ребусам и буриме. Но музыка спасает, ее становится больше и больше. «Стихотворение Поплавского прелестно по зву-

ку», – говорит Адамович. «Неуловимую для других музыку он слышал всегда», – это Газданов. Чуть выше: «У него могли быть плохие стихи...»

Поплавский судит ровно наоборот: «Мои стихи в «Числах» вызывают во мне одно отвращение». Он, похоже, не чувствует собственной поэзии, чистого от безобразного не отличает. Да нет, отличает, просто ему нелегко от «сатанинской гордости» отказаться, нелегко принять новую форму аскетизма, нелегко «понятно» и только «понятно» писать для тех, кто не привык к «нагому безобразию», которое он ставит выше. Не может сдержаться – и новое разбавляет «шумом». Он музыку слышит совсем не ту, которой его оправдывают, а другую, именно неуловимую. Ту, что звучит и в «плохих» его стихах, которых не может не быть. Слышит ее всегда, вот это правда. «Классики» никак не осознают, что была она с самого начала, а «разглядевшим» невдомек, что она продолжилась. Фолия замедляется до дремоты, но фолией быть не перестает.

Когда мы сравнивали Поплавского и Балля, мы делали это не случайно. Один из самых ярких и «резких» (о наскучившем «резком» надо бы пореже – с этим прицелом и повторяем, намеренно) дадаистов писал в 1916-м:

«Я не знаю, сможем ли мы, несмотря на все наши усилия, перешагнуть через Уайльда и Бодлера; не останемся ли мы всего лишь романтиками. Ведь есть и другие пути постижения чуда, другие пути протеста, например аскетизм или цер-

Натворив «безбожностей», Балль обращается к христианству, любимому им всегда. Обывательская критика не может разрешить это противоречие, усматривает здесь одновременное преклонение перед свободой и властью, пытаясь вписать художника хоть в какую-то систему и совершенно забывая об основе дада – принципе противоречия. Не раскаяние или предательство, а последовательное движение к чистоте и жизни ведут Балля. Как и Балль, ни в чем не изменяет себе Поплавский. Тоже ушел в христианство, но полное мистицизма и гностических искушений. А еще его аскезой, «другим путем», его гвоздями в гроба издыхающих, искорчившихся «футуристов» (их гибель очевидна была и для Зданевича) стали чистота и понятность (что спустя годы учитель повторит). Сбавить тону. Даже перестать преодолевать Бодлера.

«Нежная девочка... И стихи понимает», – он говорит о любимой. Чтобы прочесть его, понимать в стихах надо не хуже, иначе все рассыпается, пузеля не сложить; разъято, смешано, разбито. Загибаем пальцы: футурист (кубоимажонист), дадаист, сюрреалист, заумник, (пост)символист. Художник, едва не музыкант. Бестиарий влияний, непрерывное становление. Он всегда пишет как будто очень разنو (неподалеку от «педерастов в бане» – «Дева сиреневых слез»), но всегда узнаваемо. Его «постсимволизм» насыщен «наготой»,

всего лишь менее явной и откровенной. Извольте: прикрытой. Нарочито бедные рифмы, искажения, «фовистичность», нелепость, небрежность (пропущен длинный абзац о единстве формы и содержания) говорят о том же, о чем говорили дада его и сюр. Может быть, менее ярко, менее щедро, тише. От этого – отчетливей. О чем?

Следует забыть о красоте и уродстве, прямом и кривом: поэзия – активная, действующая простота. Отсутствие власти, как говорил предшественник. Даже власти безвластия. Она начинается там, где кончаются наши определения.

А ГОЛАЯ МИСТИЧЕСКАЯ КНИГА, которую Поплавский мечтал написать, это не только все его стихи, но все пресловутые «человеческие документы» и жизнь, конечно. Испытывая противоположности, он не разрывается между ними, а удивляет цельностью своего опыта. Если угодно, свободным «перетеканием» друг в друга всех его составляющих. Еще раз: эта книга говорит о сути поэзии; не о том, что все напевы милы, а о том, что не можешь писать иначе, даже когда превращаешься в свою противоположность. Поэт «без репутации», вечно незрелый, поэт «делания», мешающий золото с хилусом. Да, подводим к Введенскому, жившему лишь новыми своими стихами. Дело не в том, что последний о детях не пекся, а Поплавский составлял и хранил проекты будущих изданий. Несущественно. Документ Поплавского – черновик, осужденный, но сохраненный автором (не будем о Хармсе). «Ненаписанная статья» с «большими фор-

мальными недостатками». Но переписать ее нельзя.

Судьба его (и посмертная, которая важнее) – еще одна часть «голой книги» – *говорит, и говорит, и говорит о поэте*. Она принадлежит не модернисту-экспериментатору, разрывающемуся между сочными влияниями и эстетиками, а «тому, кто делает», сближает их творимой легендой, заставляет не бороться, но сосуществовать в новом качестве, необратимо воздействовать. Постоянным созданием новых ситуаций, где «классический» потенциал – не помеха, книга Поплавского закладывает основы нового восприятия и понимания. Как и в случае Блейка, Рембо и Хлебникова – очень разных носителей, воплощений единого: мифа о Поэте. Орфее.

Эта история, именно в связи с Поплавским, продолжается: молодые поэты по-прежнему разыскивают его стихи – и находят все более и более странные. Все загорается новое небо, точки отсчета меняются неумолимо. Вполне вероятно, что и «нагое безобразие», дикое все, насквозь, когда-нибудь станет скрижалью, константой. Не такая уж фантастика: было время – собрание сочинений Ходасевича казалось лишь прихотью. Заняв свое место, стихи Поплавского умрут, конечно же.

Но пока живы.

Кирилл Захаров

ПОЭМЫ

Поэма о Революции.

Кубосимволистический солнцень

Знаете сегодня революция
Сегодня Джек Лондон на улице
Не время думать о милой Люции
когда в облаке копоти
Молнии
Зажглись над Лондоном
Сегодня знаете, из зори молотом
Архангелов куют из топота
Дышать учитесь скорбью зорь
Позор ночей пойдет на флаги
Затем что ваш буфетный колокол
Суеты
Которым мир кряхтя накрыли
Государств добродетельные кроты
От резкого ветра морозных ночей, чтоб не протух
Будет сталью ума расколот
И воздух дней скакнет шипя
в пролом стены богов коровьих
Метнется к солнцу терпкий дух

Аж зачихают с кровью

Залпов

Довольно роз без злых шипов

не потому что вы творцы

а потому что из бумаги

завтра другие маги

в ваши войдут дворцы

На столетий заостренных Альпах

Наступая старым на крылья

<С> тем чтоб плешивить на плечах сильных

Не будут модные мешать

Годам возвращаться ссыльным

Что плаху поцеловать разрешат

голове

Знаете завтра

В барабанной дробе расстрелов

Начнемте новый завет

Пожаром таким

Чтоб солнце перед ним посерело и тень кинуло

Знаете завтра

Снимем с домов стены

Чтоб на улице было пестрей

Даром сумеем позавтракать

И нарумяниться за бесценок

Всюду в Париже и на Днестре

Куйте завтра веселее

ту революцию

Которая не будет потерянным зовом в тумане

столетий

Которого назвали ругательством
В логике ваших прелестей
Черной лестницы жизни
Довольно сердце гимназистку капризную
рубанком приличий стругать
Довольно картонную рубашку
Носить в селах
А под мягкостью пудры душевной
Быть образованным троглодитом
Ведь каждый из вас проглотил
кусочек по-жгучему мудрой нови
Из облака далее Жгут
По сердцу прошел полотенцем
шершавым
Видите восторженных младенцев
С упрямостью шеи воловьей
С сердцем не пудренным пеплом
из скорби истлевшей
В коро**б**очке собственного пламени
Забитой тревогой приличий нелепых
И без парика поцелуев на сознанья
обшморганной плещи
Которое здесь и правильно
С сердцем к манжетам не привинченным
А только истерически красным
Только не стройте домов напрасных
Сиянье огромного утра
растет как ракета
Не заслонить его раскрывающемуся

зонтику паркетов

От этого света врывающегося

А Железобетонная устрица всяких

Всяких бездарных ультра

Нудно шуршащих кранов

Поднимающая себя на воздух

Вы улыбку и сердце положившие на экран

патологии

Звавшие облак души минуткой

А в сердце блохастой закутке

Тысячу чумей пережившие

Вы

В облаке минувшего грохота

Вы с Заратустрой на козлах

Несете картонного Бога так быстро

Что с размаха идей отлогих

Слетите с земли выстрелом

Вам казалось, что вы везете

Золотую карету венчальных будней

К нежному подрядчику грядущего

Это вы одного Заратустру несете

От скуки заснувшего Вы

Смотрите разбудите концептора Еговы

Стрелы тоски в креозоте улыбок

В сердце натывает гуще

И архангелы в касках

На тенты туманностей

Из окон небоскреба горящего столетия

Примут прыжки угорелых душ

В размотавшихся портянках заношенных
истерик

Негритянки из Конго
Белозубы с Терека
Скрижалю благости пастушьей
Ударят в морду солнца гонг
И с смеха грохотом плетями
Болото мерности порасплескав гуманных
Пятой шлифованной из облаков
Шагнет из вечности революционный год
Смотри у космоса икота
От прущих плеч и кулаков
Как колесо велосипеда
На спящий мамонт налетя
Землеорбиту год победы
В восьмерку скрутит колотя
Тогда с седла одноколяски
Сорвется гонщик проиграв
И затанцует небо блеском
Тяжелый шар с кувалдой прав
Вы хотели невысказанное
Сегодня ложкой машины завтра есть
Но глупость глупого палач
И колесницы Нови шины
Из железобетонной мысли
Сделали истерии глиняный калач
А пока панели зажглись в Лондоне
Там где прошел Джек Лондон
А ночью Мы мечом из копоти

Архангелов куем из топота

Константинополь, апрель 1919 г.

Новороссийск, январь 1920 г.





Истерика истерик. Опыт кубоимажионистической росписи футуристического штандарта

Истерический всхлип с облаков.

Б. Поплавский

Искарियोты, Вы

Никуды

Я сам себя предал

От большого смеха болтаю ногами.

Крученых

Браво я тобой доволен

Пусть художник будет волен

А наука весела.

Ф. Ницше

Моя рука рука глупца: горе всем столам

и стенам и всему на чем есть место

для украшений и пачканий глупца.

Заратустра. III. ст. 225

Иному ты должен дать не руку а только лапу,

а я хочу чтоб у лапы твоей были также когти.

Заратустра. I. ст. 35

У Него пристальная голова, рассеченная пробором с спокойной истерикой в прорезах глаз, холодной, как блики на стали. Она – нечто фейерверочное, форма облачного моста, искривленная нервною любовью спешки, угорелой суеты бульварной необходимости немедленной жизни. Жесткая немощь его бесподбородочного счастья при

блеске наркотического магния въедалась в мрачные обои темных туманностей дней масляно-бесчисленной гладью узкоколейной реки с радужными разводами любовной нефти, стоячей канавы воспоминаний с чудовищным всплеском зоологического страдания, принявшей в свою дымчатую глубь стальные ключья теологических зорь, понтонных могил туч, невидимо бороздящих глубокое русло. Никогда не был этот человек собой, подобно тысяче заспанных смертью и простуженных жизнью агентов гудящего, как фабрика, города; сам был своим некто, на лазурной одежде неба, синем-эмалевом своде проникновенной профанации настоящей скорби чертил, ослепший от мерцания свечей, смеющихся чертей идеального человечества, как школьник мелом на засаленной спине лысого математика – этой зубуренной отмычкой несгораемого шкафа человеческой вечности, вырванной тюремщиком; некто, сожженным огромной слезинкой, граненой из огненной радуги неплачущей скорби Бога;

некто, впервые растерявшимся от вопля при взрыве недостроенного пролета сумасшедшего моста человечества с коваными рельсами нервов на шпалах прессованных сердец к колонизированному ангелами солнцу. Чертил со свистом на громком небе моем ракетные орбиты Данииловых писем.

121

Рассеченное пробором Око его мутно любило улицу, глотая ацетиленовые улыбки моторного мелькания ее пестро-фугасных глаз, не беременело каторжной скорбью розовых умников, разрешаясь неистово-нежным, к упитанным пульсирующим гудом рабочим асфальтированных рудников багрового отчаянья, чахоточного румянца раскалившихся площадей под мутно-пьяными глазами выпученных на режущие флаги из окон витрин.

Жесткоглазых рабочих, которые в каждое жесткое утро и истерически обязывающий вечер с прокуренных нор шестизэтажного логова, с шахтерной лампочкой кармина на искривленном коме бессоницы и скуки, через вихристые штольни подъемных машин, заплеванные клетки социальной трансформации¹ стекали трахомными слезами к вечно простуженному надорвавшимся вентилятором лабораторному

¹ Здесь заканчивается второй лист машинописи (начиная с последних трех букв слова «трансформации» и заканчивая словами «в зверинце у бога» текст написан карандашом на обороте листа).

<нрзб.> осеянно культурного способа коллективного лечения старого слона человечества, застоявшегося в зверинце у бога, рельсовых объятий бетонного удава, гигиеническим прорезом морщинистого живота, поселковой дороги пасторальному ветру, в визгливо урчащие галереи сводчатым дымом и туманом с ватной прослойкой истерик в крикливом воздухе; с библейскими маяками звезд лиловыми бликами тревожно скрипящих юпитеров, на каплях сырости громящихся верст столетиями оседающего потолка усталых небес в ссадинах копоты, царапинах дыма об черные зубы труб, которые нагло скалит улица у подкрашенных суриком губ из крыш. К копотным трамваям, светящимся вагонеткам потно-глыбастого труда, к красно-стремительным взрывам рудничного газа, выкряхтанного сердцами в портянках сволочи, рушащих на плечи сутулых от преющей силы блевотину аккуратного космоса в тысячах тонн шрапнели; к суетно-близкому, как дрель дантиста, маховому сознанию необходимости улыбочато существовать, томительно намазывая на сверлящее сумасшествие бумажного хлеба маргаринное масло электрического света.

За забором пробора паяц не беременел сердцем, искрошенным в электрический суп, только, прищурившись, ставил отрывисто бьющиеся лохмотья грассирующих истерик, вырванных черными от легкомысленных трепанаций апельсиноподобного сердца хорошеньких нищих духом ржавыми ножами своих рассеянно подведенных глаз на движущ-

щиеся тротуары рельсодинамики своей дребезжащей интуиции, на аккуратно смазанных иронической реакцией шарикоподшипниках из женских глаз; молоча одинаково неистойвей массивных электороотливок, образного эха, очередного кривомимичного выкидыша на резинке усталой стилизации или пыхтящего фуникулера нагромождений к верхней площадке из гипнотического солнца, на ископаемой спине пузатого дирижабля эрудиции. С смеющегося размаха ленивых концепций, как и по броско-эротической раскрепощенности стилизованной куклы из магазина Изы Кремер или по нагло-тревожной кувалде улыбки громко-картавой апостольской радости чумных зазубрин пудренного лезвия, победно носимого проституткой штандарта, красного от крови зарезанного Бога.

А по мощеным переулкам сердца все громыхало² лезвиями колес из отточенной логики – лязгающая поступь колоссального векселя – удушливыми балками, сетью колючих безжалостно координированных честолюбием воспоминаниями, – векселя, криво и косо исписанного Вечностью «с тех пор», измазанного кровью варварского маникюра эстетики, в пьяных подчистках, нарочно закапанных едкими чернилами любовий, с масляными лысинами разбрызганных, <в> эгоистической слюнявости пушечных возвратов, рабочих взрывов, неумелой нежности смазочных слезо-облачных подшипников в клепаном черепе Его многоцилиндрового

² Слово зачеркнуто. Вместо него вписано карандашом другое, неразборчивое.

сумасшествия.

Сутулые номера, украденные крашеным сутенером прошедшего.

Семнадцать астрономических нулей поставила оглохшая от выстрелов певица <?> в растерзанной кофточке застрелившихся материков и пьяных морей в замусленную тетрадку Евангельских откровений.

Семнадцать новых безмолвно хохочащих пастей невидимых капканов потухших орбит, сорвавшихся с оси обглоданных маховых колес в неосвященные сараи гудящих мастерских вечности на звериной тропе венчальных столетий.

С тех пор, когда из заплыванного вагона полицейского Экспресса Стратегической дороги, из параболической мерности темных туманных пятен, между боевыми гаванями крикливых узорных и пестрых городов: стремительных бегов в газообразном золоте победных радостей. Чугунной скользи колоссальных отливок терпкого безумья в откопанные провалы нарвавших могил, мрачные колодцы головокружительных туннелей, в чернильное небо Встревоженного ГРЯДУЩЕГО.

С тех пор, когда на географический перрон эстрады из потного грохота Двенадцатидюймовых пропеллеров, чекающих бронзовые морды тропически радостных полдней, то гулкие зрачки полированной непроглядности Черной громады полночей.

А на промозглой ряби серо-защитной мути усталой веч-

ности каторжной чуткости маховых будней лопающиеся пузыри сумасшедшего грохота с вздувшимися жилами проводов на клепаных³ лбах дневного ожога громовых памятей в клетчатых лохмотьях гремящей гари фабричных корпусов. Удушливые взрывы прессованного грохота, чугунная мелодия ночного дрожания арсеналов и верфей, солнцегремящих броневиков из прокованных туч <нрзб.> молний за пристальными зрачками чутких орудий в кружевных кофточках блестящих механизмов, захлебывающиеся визги восторженных пулеметов, победные петли никелированных метеоров с оглушительно орущими пропеллерами, прихотливо вырезанными из неба разноцветными крыльями, прошитыми серебряной проволокой истерик арсеналов и верфей. Металлические здания громоносной улицы, ухабисто мощеной черепами издохших планет – громоносная четкость улицы пантеизма, гудящей двигателями столицы, накокаиненной истерикой смеющейся поступи мерного синтеза Сиятельной Вечности с сбившимся в астрономическом беге шиньоном дыма.

Гулкие пролеты трясущихся небоскребов интуиции, залитые могучим светом электрических солнц, восторженных кранов с стеклянными ящиками бенгальского наркоза в блестящих шарнирах стального кулака.

Семнадцать лет как между правой и левой бесконечностью спрыгнул из заплыванного вагона лысый агент в изма-

³ Слово зачеркнуто. Вместо него вписано карандашом другое, неразборчивое.

занных пеленках ношенных недель сутулого детства к пыльной решетке зевающего исступления сточной клоаки Современности, вокзальной мути, к обшморганному буфету сентиментальных возможностей, бесстыдно заставленному дешевыми стеклянными тарелками холодного супа любви с плавающими пятнами сала, стертыми монетками серой эротичной мило-голубой богадельни надорвавшихся зорь. Семнадцать и Тысячу нарочитых усталостей от бьющих шумов случайно изжеванных зорь.

Поэтому в режущий сумрак каждого сегодня образно лгал о себе до того четко, что никелированные пальцы ассоциаций, наматывая, как вожжи, взъерошенные нервы, ежедневно купали его в удушливом ужасе зубчатых пролетов млечной раздвоенности, заставляя издерганно теплеть сверлящие памяти надоедливых бенгальских огней на улицах духа спасительной ваты в зубчатках мозга.

| 3 |

А когда размахавшийся маятник небесной четкости обязательных восходов и закатов громко застрял между сонными зубцами стертой зубчатки деревянных будней, сцепившись, как крутокормый бронзоносый разбойник, укусивший обрызгший борт распухшего золотом купца с желтыми морщинами заспанных ветром парусов железными клыками неистовых крючьев фейерверочного абордажа; сцепившемся

коме багрового от крови праздника орущего пламени подожженных истерикой трюмов обессиленных будней, радостно грызущего с воем высохшие перегородки к пороховому погребу цинковых бочек, с сердцем обезумевшего⁴ бандита, конвульсивно срывающие полезные щупальца взаимного чувства на каменной мерности головокружительной скользи окровавленного пламенем бьющегося кома случайностей, по мокро-блестящим хребтам ископаемой резвости зубчатых круговых валов, разошедшихся со скрежетом радужными кольцами пушечного прибоа времени, под облачной пяткой недавно наступившего бога, пляшущей скользи минутных дребезг к зазубренным берегам тропической смерти.

А когда на фатальном четырехугольнике центробежной истерики календаря недель заскочила окровавленная тряпочка, четкий штандарт сумасшедшего праздника случайности, безукоризненно закованный в балахончик модного излома Безответственный Он на вечерних улицах громыхающей жизни мучительно думал, что думает, как выстрел браунинга в кармане пьяного неожиданно встретил Предтечу в электрическом щупальце магазина, раздавленного на тротуаре, крашеного вырожденца с тысячелетним пробором на пудре головы. Через сотни родильных радостей рекордных сальто-мортале дверного хлопка в суетящуюся междупланетность, с вечным несессером отточенных истерик, пантеи-

⁴ Рядом карандашом приписано не совсем понятное слово, возможно, это «случайно».

стических зеркалец, элегантных говений Коммивояжер Космоса от огненных и серных гимнов скорбного пустынножителя грома-солнечной поступи ало-радостных зорей танцующего грядущего с грациозно-надоедливым забеганием вперед, прыгая с кратера на кратер библейских букв через еретическую скуку к эротическому золотоволосью Четкого Века цветных стекол, на плохо чеканенные деньги остроскулового герцога в причудливой меди призовых лат с фосфоресцирующими пентаклями на кожаных оборотах, через горькие вензели ассонирующих слов.

Меж звонкими этажами Шелкового гавота стильной архитектурной похоти из цветного майолика к потному времени в разматавшихся портянках из напестольного полога, вбивающего ржавые гвозди бессмысленных гибелей в головы неспособных или больных подмастерий и учеников. Аккуратно умытый позавчерашним альковом, крикливая девочка с асимметричными членами мерзкой наследственности взорванных жизнью – Предтечу, скрывающегося от мобилизации космоса, форменным мальчиком у захарканного лифта искусства, мягкие двери которого отрезали немало пухлявых пальцев внутренних романтических женщин. Одного из патентованных далее высоконаучного небоскреба попыток. На ветру революции простудившего сердце времени – отдохнуть на середине прыжка в лазурь.

Раскашлялись.

О супе, о солнце, о гидравлическом поцелуе наркоти-

ческого наитья, о социал-аллегоричной патетике иконами бронированных фейерверков шестидюймовых слов, но через патетическую горсть скорби испепеляющих плевков разговора двух плешивых трагиков после акта романтической ненависти; о париках или тухлой семге сальных анекдотов в арестном доме солнцегремящего выкрика; или покровительственных похлопываний по квадратному плечу пролетающих мимо двойных трехцветных солнц атлетических юнцов, честных отцов многочисленного семейства, простуженно рыскающего по холодному эфиру, вежливо чихающих в огромные платки из темных туманностей – спектрорежущие протуберанцы в добрую пару Млечных путей.

Как автомобиль в витрину кафе, врезался звонок внутреннего телефона. По откинувшемуся окошечку с штампованным изображением дореформенного архангела звонок визгливо кричал из частного кабинета Егovy на мебелированных Гималаях лязгающего духа. Предтеча лениво вытащил золотой портсигар с модернистическим рисунком, элегантно прикурив о Канопус толстую папиросу собственной набивки. Разбросал лакированной ногой улыбки говеющую кучу вопросительных знаков, нахарканных зрачками, растущими от удивления на смазанную серость гудящих канцелярий и мастерских аккуратного Космоса, как круги на буколической луже, и сказал: «Просто сейчас в асбестовой трубке небезопасно в пожарном отношении». «Молнии, громы и голоса – одна из звездно-официальных традиций на работе в

желудке подклеенного монизма», – прибавил он с улыбкой, создавшей несколько вулканических островов и землетрясениями эффектно обрушившей несколько уцелевших подводных храмов на Атлантиде; кое-где загорелись новые звезды. «Простите, я только на одно воплощение», – у телефона оказалось, что из-за искренней минуты заторможенного Куковского гида, сиятельно-культурного рационалиста во всеоружии железобетонной окрыленности снисходительно концептуализирующей эрудиции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.